

Андрей Соболев

Обломки



Андрей Соболев

Обломки

«Public Domain»

1921

Соболь А.

Обломки / А. Соболь — «Public Domain», 1921

«...У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся четыре двухэтажных домика, с балкончиками, навесами, перилками, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату. Днем в саду тихо – все на пляже, только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неутомимый шмель, гудит и не хочет убраться...»

Андрей Михайлович Соболев

Обломки

У подножья базальтовой горы, в саду, где мало цветов, но много фруктовых деревьев, в зелени прячутся четыре двухэтажных домика, с балкончиками, навесами, перильцами, номерками над каждой дверью, с рукописными наставлениями, как обращаться с мебелью, в какие часы требовать кипятку и когда вносить плату.

Днем в саду тихо – все на пляже, только посапывает в плетеном кресле под корявой грушей разбитый параличом бывший вице-губернатор Сувалкской губернии, отчего кажется, что гудит все время неугомонный шмель, гудит и не хочет убраться.

А под вечер вице-губернатора уносят, на балкончиках появляются лампы, калужская помещица покрикивает на горничную, дебелия оперная певица, накинув на плечи длинный шифоновый шарф, разгуливает по дорожкам. И возле всех лестниц загораются мангалки – обыкновенные ведра, но с решеткой посередине: местное изобретение для стряпни.

У каждой мангалки свой хозяин или хозяйка, но у каждой мангалки и душа своя.

Особая, как уверяет лысый поэт в шапке, похожей на монашескую скуфейку, с которой он никогда не расстается, уродливый, как бурятский божок, избиваемый в дни непогоды и обожаемый в часы удачного всхода трав, длинноногий, с зубами, черными от табаку и почти выкрошенными неизменным мундштуком.

Но у поэта чудесные глаза; правда, как будто блуждающие, как будто они на время удаляются и, побродив – где? где? – возвращаются робкими и усталыми, словно еще не преодолели всего виденного.

У поэта тоже своя мангалка, как и у соседа его за стеной, человека неопределенной профессии и звания – Александра Григорьевича Мировича. И такая же мангалка у «светлейшей».

И, как все, «светлейшая», – девушка двадцати четырех – двадцати пяти лет, фамилию которой владелец сада и домов Пататуев произносит с восторгом, почтением и трепетным благоговением, – в сумерки разводит в ней огонь и, белея на свету, ставит кастрюльку, сковородку. И когда шипит масло или бурлит вода, поэт в скуфейке бросает свою мангалку, прячется за перила лестницы и глядит, как из комнаты выходит «светлейшая», как она, стоя над мангалкой, от дыма заслоняется ладонью. И за эту ладонь, за эту руку поэт готов в любой час взобраться на Чертов палец, недоступный и грозный, даже и днем жуткий, и оттуда, с непостижимой высоты, ринуться вниз, в море.

Но не только поэт, – ах, поэту сам бог велел! – но и неопределенная личность, Мирович, тоже на многое готов ради этой «белобрысой», как ее называет язвительно четвертый сосед по домику, Лунин, газетчик, репортер, агент страхового общества, прапорщик в бегах и в конечном счете глубоко несчастный человек с одним легким и с пятилетним сыном – Андрюшкой.

Но Мирович не поэт, он скуп на слова, он только быстро-быстро трет свой левый висок, когда «светлейшая» проходит мимо; трет усиленно (точно суконкой какое-нибудь изделие из металла, чтобы оно заблестело, засверкало). Но висок по-прежнему остается восковым, безжизненным. А «светлейшая» в это время уже удаляется, от ног ее в морском песку остаются впадины.

И когда просачивается вода, и там, где отпечатлелся каблучок, сразу зарождается новая жизнь, Мирович грудью ложится на берег, перебирает ракушки, камушки, засохшие пучки морских трав. И все ищет и ищет – камень особенный, многоцветный, до сих пор не виданный и еще никем не найденный.

И даже Лунин, хотя все время возится с легким – одним, другого уже нет – Андрюшкой, и хотя твердит, что в белобрысой ничего нет, кроме громкого имени, тоже не раз ловит

себя на мысли о том, как прекрасно и как изумительно было бы услышать от этой девушки коротенькое, простое, но такое очаровательное слово «милый», и, услышав, пойти за ней.

Куда? – все равно, но подальше от мангалок, от зеленой плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора. И даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем и ночью чужое.

Чужое, – потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться, потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди: одни с одними знаменами, другие с другими, но и те и эти мокнувшие под дождем, но и те и другие несущие смерть.

Вице-губернатор знает, что в этом теплом краю, где кудрявый виноград цепко ухватился за землю и солнцем пьян, где розовый миндаль в цвету похож на сон, навеянный чтением сказок Шехеразады, ему придется окончить дни свои.

Но он терпеливо принимает неизбежный удел: Сувалкской губернии не существует, в вице-губернаторской квартире, нет сомнения, живет какой-нибудь проходимец; партнеры по преферансу разбрелись по свету божьему, и где их теперь найдешь, а начальник контрольной палаты еще в прошлом году где-то в Твери или Коломне умер от тифа, – и вице-губернатор аккуратно пьет свое молоко, еще теплое, еще пахнущее выменем, и сопит, не от огорчения и боли, а только потому, что он отучен, и что все труднее и труднее ему дышать.

Андрюшку все любо: и море, и раковины, и ястреба над Чертовым пальцем, и татарки с монетами в мелких косичках, и одноглазая камбала. И не мудрено, что он наливаются, как колос, смуглеет, как цыган, и, как татарчата, не знает он тесноты штанишек и неудобства рубашек.

«Светлейшая» дружит с Андрюшкой.

Андрюшок «светлейшей» приносит медуз, морских коньков; «светлейшая» уже давно мечтает порадовать Андрюшка паровозом или шумливым аэропланом. Но у «светлейшей», хотя около постели и висит золотая в плетении сумочка, денег мало, и все чаще и чаще болгарин Бастичев, лавочник из села, уносит к себе то колечко, то пару лайковых перчаток, то шелковую кружевную рубашку.

А поэт обо всем этом знает.

Быть может, мангалка «светлейшей» ему все рассказывает: поэт верит, что мангалки знают все хозяйские тайны и могут о многом поведать.

И не потому ли иногда вечером поэт тихонько ставит свою мангалку на место мангалки «светлейшей», а чужую уносит к себе, греет на ней местное красное вино, очень дешевое, но крепкое, прибавляя к нему корицы, кладя мускатный орех, запах которого напоминает ему Индию, – и слушает, слушает, как верещит мангалка.

А когда мангалка отмирает, и огненные ее язычки перестают облизываться, поэт пьет горячее вино, снимает скуфейку и напевно читает (о нет, не свои стихи, их он прочтет только одной ей, единственной, когда она придет, взглянет, заманит, заморозит):

Нет, не люблю я за кубком слушать шумные речи
О кровавой войне и раздорах.
Кто Афродиту, Эроту и Муз прославляет за пиром –
Тот приятен в своих разговорах.

А после четвертого, пятого стакана он прощается со старым приятелем Анакреоном и русским стуком стучит в стенку соседу – Мировичу – и зовет его к себе провести час-другой по-русски: выпить и поплакать. И, сорвав с себя венок, сплетенный утром в горах из вереска, натягивает скуфейку до ушей и пьет, пьет сосредоточенно восьмой, десятый стакан, и уже нет

ни Индии, ни Греции, не качается палатка на просторной спине философа-слона, не прыгает в оливковой роще растрепанный фавн, не шелестят опахала из павлиньих перьев, а тянется мокрая проселочная дорога, стыннут березки в предвечернем зыбком тумане, и за пряслом дымит избенка горьким и тоненьким дымком.

– Мирович, у вас удивительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, выпьем. Или: Мирович, айда.

– Куда? – спрашивает Мирович, ставит свой стакан на стол и прищуривается в уровень стакана. Глаза у него продолговатые, и постоянно на лице его тень от ресниц, точно от какой-то злой птицы, всегда над ним парящей, как кружится неизменно птица-орел над завоевателем, победителем и удачником. Прищуривается так, как будто в красной жидкости пытается разглядеть, куда какие дороги побежали.

Мирович скуп на слова, а может быть, скуп и на другое: он плохо одет, питается скудно и говорит он нехотя:

– Некуда! Сидите...

Вино все выпито. За окном шумят тополя, в высь стремящиеся в бессмертной красоте, о такой же красоте, неумирающей и вечной, твердит море, волну за волной посылая к берегу, точно вестников в серебряной броне о победе, а поэт длинноногий, подобный бурятскому божку, грезит об единственной и не в силах спрятать свою тоску по ней – близкой, вот тут живущей рядом, «светлейшей», и – такой далекой.

– Мирович, у вас поразительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, повесимся.

– Я еще жить хочу, – цедит сквозь зубы Мирович слова и последние капли вина. – Хочу! – и вдруг стучит кулаком по столу.

И это так неожиданно, так непохоже на него: он всегда ровен и спокоен, редко повышает голос, а тут кричит, и так громко, что «светлейшая» может проснуться.

– И буду жить. Хоть с чертом, с дьяволом, но я уйду отсюда. Опротивела мне эта бирюза. Тошно от олеографии. Вечно перед глазами. Какая-то сплошная выставка глупо намалеванных пейзажей. Не хочу! С дьяволом, но отсюда.

– А где найти его? – робко спрашивает поэт и покусывает ногти: скверная привычка, поэт это знает, но до крови обдирает ногти, как всегда в минуты непоборимой и лютой тоски. – Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт!..

И, прикрыв глаза исковерканными пальцами, видит поэт раздвоенное копыто, насмешливые губы над узкой, длинной бородкой, сухощавую руку с карбункулом на темном мизинце.

А подняв глаза, уже не находит Мировича: тот ушел незаметно, как всегда.

Куда? – быть может, под окно «светлейшей» или к подножию Чертова пальца.

«Мирович, давай повесимся», – и улыбается поэт, и смеется над собой, над лысиной своей, над тетрадкой своих стихов о приходе единственной и о глухих переулках недоступной, желанной Москвы.

Улыбается, смеется, потому что уже светает, уже отошел хмель, но и плачет – плачет над теми же стихами, над той же лысиной.

Все ближе и ближе заря – и вот потух синий огонек в деревянной вышке напротив, в маленьком цветном оконце приземистой дачи, где живет звездочет – странный человек четырехугольного сложения и низкого роста, с бородой цвета шафрана и тройной фамилией Бурейша-Домгайло-Кричинский, бодрствующий по ночам, от солнечного света убегающий за гардины, портьеры и ставни, владелец полуразрушенного дома, выжженного виноградника и небольшого телескопа.

Когда в синем оконце гаснет огонек – значит, рассвет придвинулся, значит, сейчас солнце всплывет.

«Светлейшая» знает это: не впервые ей отходить от своего окна вместе с синим огоньком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.